

РОКОВЫЕ ГОДЫ

(Из воспоминаний)

НУ. — НЬЮ - ЙОРК — БОСТОН — ЧИКАГО. —
ПРОБЫЛ В КНИГѢ. — «КРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

Это было второе из пяти моих посещений Соединенных Штатов. Я уже не чувствовал себя новичком в Америкѣ и достаточно знал ее, чтобы согласиться с ироническим замѣчаніем американцев: «кто не написал книги об Америкѣ послѣ первой поѣздки, тот уже никогда ее не напишет». Я успѣл также понять и другое американское изреченіе: «кто знает только Нью - Йорк, тот не знает Америки». Конечно, американский Космополис, — в своих пи-зах скопище осадков всѣх неудавшихся иммиграцій, не нашедших в себѣ силы двигаться дальше, а в своей верхушкѣ — отбор особняков американских «десети тысяч» и их торговых контор в небескрабах «даун таун» (нижнем городѣ), — Нью - Йорк есть только раздувшийся нарыв на тѣлѣ Америки, а не органическое проявление американского духа, — хотя бы даже в ближайшей к Атлантику полосѣ «Новой Англии». Чикаго — второй послѣ Нью - Йорка крупный городской центр — и первый, с которым я ближе познакомился, уже представляет другую Америку: «Средний запад», гдѣ в началѣ нашего столѣтія еще завершались процессы, давно законченные на Востокѣ, — процессы американской колонизаціи: авантюризм большого стиля сверху и бытовой анархизм снизу, — остатки примитивизма там и здѣсь. В истории Чикаго я прочел, что еще в шестидесятых годах прошлаго столѣтія два мула усердно обслуживали ежедневную почту зарождавшагося города. Это и понятно, так как американское населеніе разных національностей только в тридцатых и сороковых годах подошло с юга к великой озерной области сѣвера. А там позади, на «Дальнем Западѣ», еще цѣлы были пустыни, перемежавшіеся оазисами населенія. В

См. юньскую книгу «Р. З.».

Калифорнії еще жили герои Брет - Гарта, смѣнившіе тѣх красно-кожих средней и восточной Америки, похожденіями которых мы в нашем дѣствѣ увлекались в романах Фенимора Купера и Майн - Рида. Если к «Новой Англіи», «Среднему» и «Дальнему Западу» прибавить еще давно колонизованный юг и недавно заселенный сѣвер, то вот уже пять Америк, из которых каждая живет собственной жизнью, мало связанной с нью - юрской вытяжкой, а иногда и враждебной ей.

Мой вѣрный друг и деликатный покровитель в Америкѣ, Чарльз Крен, с своей многолюдной семьей, явился для меня тѣм микрокосмом, на котором я впервые познакомился с разными стадіями американского исторического процесса. Сам он представлял переходный тип от одного поколѣнія новых американских боярчай к другому. Как нарочно, Крен дал мнѣ почтать популярный тогда роман «Письма отца - самоучки (*self-made-man*) к своему сыну». Книга отлично иллюстрировала этот поворотный пункт поколѣній. Отец Крена, съ которым я еще успѣл познакомиться, — крѣпыш, солидно обставившій свое торгово - промышленное предпріятіе и передавшій его на полном ходу дѣтям, — это был представитель американской скалы, на которой созидались небоскрѣбы. Сын — мой Крен — с темпераментом, все еще кипящим жаждой приключений и творческаго почина, юношей повадился ходить на пристань, гдѣ стояли иностранные корабли; его манили невѣдомыя дали, и в один прекрасный день — в том, в чём был, не предупредив отца, без всяких средств он сѣл на голландский пароход и отплыл в голландскія колоніи Азіи. Здѣсь развивается в нем любовь к экзотическим странам — и к угнетенным народам в процессѣ их освобожденія. Этой своей любви он остается вѣрен в течение всей своей жизни. От Азіи его интерес переходит к Россіи, от Россіи — на балканских славян; затѣм он возвращается к мусульманским странам Ближняго Востока и Африки, кончается на Албаніи. В Африкѣ Крен разыскивает шейха Сенусси, в Аравіи его сосѣд по автомобилю в пустынѣ падает под нулевъ бедуина, и только случайность спасает Крена от смерти. Близкій к правящим сферам Америки, друг Теодора Рузвелльта и потом Вильсона, он получает назначение послаником в Китай, но остается на посту недолго и оттуда попадает в третій раз в Москву при Совѣтах (в первый раз он пріѣзжал в Россію приглашать меня в Америку, во второй — поспѣшил пріѣхать —

на огонек — в первые же дни революції 1917 г.). Всюду он привлекает к себе друзей и остается им вѣрен; через третье лицо он помогает друзьям, оставшимся у большевиков; воспитывает детей известной турецкой писательницы; делает анонимно массу добра. Со мной он дважды путешествует по Болгаріи и Турції; отовсюду привозит художественные произведения — и практическая свѣдѣнія, превращая свой дом в музей — и обогащая фирму Вестингауза новыми рынками. В концѣ своей беззокойной карьеры он еще создает в Калифорніи единственную в своем родѣ финиковую плантацию, где разводятся лучшіе сорта фиников, собранные им со всего свѣта. Среди всѣх своих скитаний Крен никогда не забывает тѣх, кого раз полюбил. Мне посчастливилось попасть в это число, и где-бы он ни был, возвращаясь через Париж, он обязательно устраивает встречу со мной и разсказывает мнѣ свои послѣднія впечатлѣнія.

Многочисленная семья Крена — дети разных возрастов и его внуки — опять представляют переход к новому типу — третьего и четвертого поколѣнія. Дѣлами они больше не занимаются; их привлекают свободная профессія, спорт, любительство, искусство, — новаторство в разных сферах творчества и жизни. Обладая значительными средствами, они имѣют досуг и пользуются им — одни для серьезной работы в избранной специальности, другие — для развлечения. Часто — в послѣднем поколѣніи — они принадлежат к типу «уставших от американской нивеллировки» — и увлекаются экзотикой иного рода, нежели мой старый друг. Вообще, однако, старая рѣзкія различія между «пятью Америками» со временем слаживаются — по мѣрѣ усвоенія общей культуры. За время моих посѣщеній Соединенных Штатов, т. с. в теченіе пѣвой четверти вѣка (1903 — 1928), я мог наблюдать громадный перемѣны и гигантский рост Америки. К некоторым из этих явлений я буду имѣть случай вернуться; теперь я говорю об Америкѣ, какой застал ее в 1903 — 1904 годах.

Благодаря дружественному посредничеству Чарльза Крена, мнѣ на этот раз предстояло перейти от одного полюса американской жизни к другому: от самого молодого чикагского университета к старѣйшим образовательным учрежденіям Бостона, — этих общепризнанных «американских Афин», столицы древнейшаго штата Массачусетса. Я разумѣю здѣсь, прежде всего, Лоуэлевскій институт (Lowell's Institute), основанный в 1937 году и поддер-

живавшій прочнуу репутацію наибoльш авторитетнаго учрежденія для чтенія публичных лекцій. В этот отдѣл института ежегодно приглашаются лекторы с европейским или всемирным именем. Я, конечно, к этой категоріи не принадлежал, и мое приглашеніе было вызвано настойчивой рекомендацией Крена. По завѣщанію основателя института, приглашают лекторов обязательно члены фамиліи Лоуэлей. Наиболѣе известный из них, ректор и профессор старѣйшаго Гарвардскаго университета в окрестностях Бостона (Кембридж), Лоуренс Лоуэль, приходился кузеном своего родственника, формально приглашавшаго очередных лекторов: через его посредство я и получил приглашеніе, а затѣм познакомился с ним лично и был его гостем в Гарвардѣ, что само по себѣ было рѣдким отличием.

Это знакомство сразу ввело меня в избранный круг литераторов, артистов и др. интеллигентов, которыми славился Бостон на всю Америку. К семье Лоуэлей принадлежал и знаменитый поэт Лоуэль, — и его традиція поддерживалась в Бостонѣ его молодой родственницей, мисс Лоуэль — тоже поэтессой, которая и собирала около себя этот избранный круг. Надо прибавить, что это был не только центр культуры, но и центр американской аристократіи. «Десять тысяч» избранных об'единялись одним признаком, — не всегда, конечно, соотвѣтствовавшим дѣйствительности: они считали себя потомками «Отцов Пилигримов» (Pilgrim Fathers), прѣѣхавших из Англіи на «Mayflower» и высадившихся в 20 г. на скалѣ Плимута, — теперь одного из кварталов Бостона. Как известно, американцы очень чувствительны к генеалогіям, и тѣ, которые американской генеалогіей от ХУІІ вѣка не обладают, замѣняют ее в наше время женитьбой или замужеством с князьями, графами, маркизами тѣх стран Европы, гдѣ подобные титулы имѣются. Перепало кое — что от этой американской прихоти и на долю наших титулованных эмигрантов. Старая аристократія «ландаша» смотрѣла на этих мѣщан во дворянствѣ с некоторым пре-небреженіем, строго охраняя собственную чистоту.

Должен опять оговориться, что и здѣсь я описываю прошлое, теперь уже довольно далекое. В промежуткѣ произошли большия перемѣны, и аристократический Бостон теперь уже не тот, что прежде. Но, возвращаясь к декабрю 1904 г., я чувствовал, что открытый мнѣ доступ в эту избранную среду является для меня специальным знаком вниманія. Я здѣсь, дѣйствительно, встрѣтил лю-

дей, живших интеллектуальными интересами, — людей с развитым эстетическим вкусом, бывших в курсѣ послѣдних — или предпослѣдних новинок Европы и гордившихся этим. В т о г д а шн е й Америкѣ это был, в самом дѣлѣ, довольно одинокій оазис. В бесѣдах этого круга стремление к высотам культуры совмѣщалось с нѣкоторым презрѣніем к быстрой демократической нивелировкѣ Америки, и в политикѣ высказываемые в этом салонѣ взгляды носили характер несомнѣнного консерватизма. Я, однако, почувствовал, переходя от уюта этого, почти семейнаго, круга к большой аудиторіи моих лекцій, что репутація высокой культурности Бостона вовсе не ограничивается одним этим избранным кругом. Должен по совѣсти признать, что едва-ли когда — либо я имѣл перед собой аудиторію такого высокаго уровня, как именно здѣсь. Тема моя была для них новая; я не щадил их вниманія, загружая свое изложеніе не только фактическими подробностями, но даже и таблицами цифр на доскѣ. Вниманіе, однако, ни на минуту не прерывалось, а по окончаніи каждой лекціи я получал самое ослѣпительное доказательство того, что содержаніе лекціи воспринято во всѣх деталях. На меня ссыпался цѣлый ряд вопросов, большую частью мѣтко поставленных и глубоко захватывавших предмет. Видно было, что имѣешь дѣло с людьми не только бывальми и знакомыми с жизнью, но и обладающими значительным запасом политических, соціальных и теоретических познаній. Это был своего рода экзамен для самого лектора, и подчас я со смущеніем видѣл, что вопросы вскрывают самыя мои слабыя мѣста.

Словом, я был доволен Бостоном и благодарен ему. Это умное вниманіе пришло во-время для окончательной обработки второй части моей книги о «Русском Кризисѣ». Признаться, читая лекціи, я больше думал о ней, чѣм о моих слушателях: поэтому и донимал их так испедагогично подробностями, болѣе важными для русских, нежели для иностранцев. Послѣ окончанія этого курса лекцій у меня оставался промежуток времени до возвращенія в Чикаго и прочтенія там курса о балканских славянах. Я рѣшил воспользоваться этим промежутком для того, чтобы, пользуясь гостепріимством ректора Гарвардскаго университета, поработать среди уюта университетскаго городка в обширной гарвардской библіотекѣ.

Историческая часть моей работы была в это время уже готова. Оставалось лишь дополнить новыми данными параллельную

исторію русского либерального и соціалистического движенія, довоенну до девяностых годов прошлаго вѣка. Прочтенный в Бостонѣ курс присоединял к исторіи характеристику современного положенія — по материалам, отчасти собранным в Россії, отчасти присланным мною в Америку и доводившим фактическое изложеніе до конца 1903 г. Были подобраны цифровыя данныя об экономическом кризисѣ, о рабочем и крестьянском движеніи, о ростѣ политических преступлений, об усиленіи правительственныех преслѣдованій; предсказана трудность мирнаго исхода и быстро возраставшая неизбѣжность революціи. Но между объемами частями — исторіей и современностью — зиял пробѣл, который оставалось заполнить. Это было — состояніе либерального и соціалистического движенія при переходѣ от прошлаго к настоящему — на рубежѣ двух столѣтій. О либерализмѣ за эти годы я мог говорить по личным наблюденіям и на основаніи той политической эволюціи «Возрожденія», о которой говорилось в предыдущей главѣ. О новѣйших событиях среди обоих течений русского соціализма — народничества и марксизма — я знал по личным знакомствам с их «легальными» представителями и с их журнальной работой за короткое время моего редакторства в «Мирѣ Божіем», по возвращеніи из Болгаріи. Не мог, конечно, не знать и о начавшейся борьбѣ внутри самого марксизма — между «экономистами» и «ревизионистами» (бернштейніанцами) — и их противниками. Обо всем этом я и говорил в книгѣ; упоминал даже «Искру». Но внутренней психологіи этой подпольной борьбы — в результатѣ накоплявшихся в ней противорѣчий — я, разумѣется, знатъ не мог в тѣ годы: этот пробѣл так и остался пробѣлом. А между тѣм из него неизбѣжно вытекала неполнота и однобокость моих практических выводов, о которой скажу сейчас. Я очень разсчитывал на русскія залежи огромной библіотеки Гарвардскаго университета и действительно нашел там много нелегальных брошюр, изданий и газетных комплектов. Судя по надписям на нѣкоторых из них, эта коллекція была приобрѣтена университетом от нѣкоего Панина — очевидно, русскаго революціонера - эмигранта. Она мною очень помогла, — для девяностых годов, — но и усилила несоответствие моих знаній между этим періодом и ближайшими послѣдующими годами. Я упоминаю о всѣх этих автобіографических подробностях, потому что они повлияли на мои представления о ходѣ предстоящаго революціонного движения в Россіи. К моей исторической схемѣ

встрѣчной эволюціи русского либерализма и соціализма эти данные очень подходили; но проекція хода этой эволюціи в будущее вышла неправильной: черезчур оптимистичной. Дѣло в том, что я строил свою схему на постепенном сближеніи обоих теченій русской политической мысли и не мог предусмотрѣть возможности их новаго расхожденія при под'емѣ новой революціонной волны. Приведу полстраницы из американской книги, никогда не увидавшей свѣта в русском переводѣ, чтобы закрѣпить документально это мое тогдашнее представлѣніе. «Мы видѣли», резюмировал я свой разсказ, «как в шестидесятых годах, когда либералы впервые заявились как особая политическая группа, они были заподозрѣны болѣе прогрессивным общественным мнѣніем в аристократизмѣ и крѣпостничествѣ; это лишило их политическую программу (я разумѣлъ конституціонныя требованія) всякаго вліянія на правительство и на общественное мнѣніе. Во втором періодѣ их борьбы, в семидесятых годах, либералы получили болѣе сильную поддержку общественного мнѣнія образованных классов; но революціонеры оставались их противниками, — и они, в свою очередь, были готовы помочь правительству против революціи. С тѣх пор обѣ стороны поняли, что лучше бороться вмѣстѣ против общаго врага, нежели сражаться друг с другом. Мы видѣли, что и соціалисты, и революціонеры признали, что причина их неудачи отчасти и заключается в недостаточной поддержкѣ образованных классов. В то же время либералы поняли, что никакія частичныя соглашенія с правительством не могут гарантировать данных уступок и установить таким образом длительное состояніе соціального мира. Раз революціонеры стали практиче, а либералы — демократичне и прогрессивнѣе в своих требованіях, стало возможно прямое соглашеніе между обѣими группами».

На чём я основывал это заключеніе — или эту надежду? В восемидесятых и девяностых годах доказательства были в изобилии. Это было, именно, то время, когда революціонеры поняли недостаточность своих сил и утопичность своей программы — и стали умѣренѣе в своих ближайших требованіях. Александр Михайлов уже в 1881 г. показывал на судѣ, что «послѣ восьми лѣт столкновеній с централизованным политическим строем... оказалось необходимым выдвинуть на первый план политическую свободу и народоуправленіе... Это — лозунг уже не соціалиста только, а всякаго честнаго и развитаго русскаго гражданина, и потому нѣт

сомніння, что им опредѣлится для Россіи ближайшій шаг прогресса». И в письмѣ друзьям из Петропавловской крѣпости он завѣщал: «все отдаленное, все недостижимое должно быть на время отброшено. Соціалистические и федералистические идеалы должны отступить на второй план дальнѣйшаго будущаго, и лозунгом нашим должно стать... земское учредительное собраніе при общем избирательном правѣ, при свободѣ слова, печати и сходок». Это была старая программа Герцена; но и к цей исполнительный комитет Н. В. весной 1880 г. присоединял оговорки. Он соглашался «признать даже царское правительство, если оно будет возстановлено учредительным собраніем, но сохранить за партіей право пропаганды республиканской идеи». Не упоминаю уже о еще более сдержаных требованіях к царю в знаменитом письмѣ исполнительного комитета Александру III в 1881 г. В том же 1881 г. Кравчинскій писал: «соціализм не стоял и не стоит препятствием для об'единенія русской оппозиції: нам дороги интересы свободы всѣх русских, без различія партій; мы готовы защищать ее во имя общаго вѣкѣ классового чувства гражданской солидарности, которая существует во всѣх передовых странах — в тѣм большей степени, чѣм онѣ культурыѣ. В вопросѣ политическом, составляющем злобу дня, наша программа есть именно программа передовой фракціи русских либералов». Тѣ же взгляды развивала в срединѣ девяностых годов преемница «Народной Воли», партія «Народного Права», среди которой были и мои личные друзья (как Мельшин-Якубович). И первоначальный («легальный») марксизм, борясь с народничеством, занялся прежде всего установлением того бесспорного факта, что Россія не составляет исключенія в ряду других культурных стран, и что в пей этап развитаго капитализма должен быть пройден перед переходом к соціалистическим формам хозяйства. Идея классовой борьбы оставалась при этом на втором планѣ.

Под вліяніем этих взглядов образумившихся революціонеров 80-х - 90-х годов, я как-то просмотрѣл значеніе того факта, что Плеханов уже при переходѣ своем от «Чернаго Передѣла» к (но принятой) статьѣ в «Вѣстникѣ Народной Воли», т. е. уже в первой половинѣ восьмидесятых годов был готов замѣнить одну отброшенную утопію другой. Первая утопія заключалась в вѣрѣ в прирожденный соціализм крестьянства. Новая утопія состояла в замѣнѣ этой фантастической роли крестьянства в революціи — такой

же и более важной — ролью рабочего класса, как единственного фактора при введении немедленного социализма в международном масштабе во всех цивилизованных странах мира. Ленин развил эту утопию своим возвращением к Ткачеву (переворот сверху, вместо «федерации» общин снизу), к бланкизму и к Жоржу Сорелю (вторжение социализма сверху, путем насилиственного захвата власти во имя диктатуры пролетариата). Как построится ход русской революции при примениении этой новой утопии, я предвидеть не мог, а единственная встреча моя с Лениным в 1902 (1903?) году в Лондоне только показала мне, что он еще раз считывает на сотрудничество «буржуазной демократии» при создании коалиционного правительства в будущей демократической Республике. Отсюда происходила невольная перестановка моих перспектив при оценке предстоявшей действительности. Могу только прибавить, предваряя дальнейший рассказ, что эта ошибка перспективы, прежде чем принести вред, принесла и значительную пользу. Оптимизм, как иногда бывает, оказался источником силы.

Не столько закончив, сколько оборвав свои работы в Гарвард, я вернулся к началу января семестра 1905 г. в знакомую уже мне семью чикагских профессоров и начал чтение лекций о балканских славянах. Но оно недолго продолжалось. Мне удалось прочесть из этого курса только несколько лекций. В чикагских газетах от 23 (10) января я прочел оглашительное известие о «Красном Воскресенье» в Петербурге (9 - 22 января). Первонаучальные свидетельства были очень кратки и неясны; но их было достаточно, чтобы показать мне, что предсказанная в моих курсах революция действительно начинается. Моя книга кончалась свидетельствами о резолюциях земского съезда 19 (6) ноября и о парижском съезде оппозиционных и революционных партий. Это был последний аккорд в сближении обоих русских течений. Теперь приходилось кончать рассказ народным восстанием и его ближайшими последствиями. В тексте я говорил о чрезвычайной трудности даже для «опытного и авторитетного политика» определить, в виду общего антиправительственного фронта, ту минимальную программу, которая могла бы «спасти положение» и «удовлетворить общественное мнение». В примечаниях к сданному в печать набору мне пришлось прибавить: «эти строки были написаны до зимних осложнений 1904 - 1905 г. г. Теперь никакой отдельный государ-

ственний дѣятель спасти положеніе не может. Слово принадлежит представителям народа». Так отразилась в моем сознаніи разница положенія до и послѣ «Красного Воскресенья». Естественно, что на этот раз я счел своим долгом как можно скорѣе прервать лекціи и спѣшно вернуться в Россію. Я сказал об этом Крену. Его ясный ум и приобрѣтенный в странствіях опыт, вмѣстѣ с симпатіей к освободительным движеніям народов, дали ему возможность сразу оцѣнить значеніе петербургскаго события. Он вполнѣ присоединился к моему решенію. Мне оставалось только закончить подготовку к печати книги, что входило обязательной частью в выполнение креновскаго плана лекцій о славянствѣ. Тут мнѣ помог молодой доцент по кафедрѣ ассириологии чикагскаго университета, д-р Мусс - Арнольд, проникшійся ко мнѣ самой иѣжной дружбой. Ему я обязал окончательным вышравленіем текста, причем он обнаружил пониманіе малѣйших деталей моего изложенія и заинтересовался внутренним значеніем описанных мною процессов. Это отразилось и в составленом им великолѣпном «аналитическом указателѣ» к книгѣ. Свою дружбу ко мнѣ Арнольд сохранил до послѣдней моей поѣзdkѣ, — до свиданія с ним, когда женатаго и послѣдн资料的, жившаго на покое, я разыскал его в отдаленном кварталѣ Нью - Йорка. Едва-ли дойдет до него это выраженіе моей благодарности.

Пока Мусс - Арнольд заканчивал свою работу над изданием книги, я воспользовался нѣсколькими свободными днями, чтобы совершить экскурсію на єхъвер, к границам Канады. Я поднялся через Детройт в Торонто (по ту сторону границы), оттуда к истоку рѣки Св. Лаврентія из озера Онтаріо и дальше, по живописнѣйшей части рѣки (т. наз. «Тысячѣ островов») до Монтроля (Монреала) с его старо - французской культурой. Оттуда, через озеро Чамплен и Нью - Йорк, я вернулся прямым путем в Чикаго (на Ниагарѣ я был и раньше, и позже). В поѣзdkѣ этой я провѣрил впечатлѣніе свое о связи канадской природы с сибирской и євро - русской (свѣжій климат, угрюмые хвойные лѣса и т. д.). Но, кромѣ того, я еще раз натолкнулся тут на удивительную для того времени организованность и освѣдомленность американской печати. На каждой остановкѣ по пути я покупал мѣстную газету — и вездѣ, днем и вечером, находил продолженіе связнаго разсказа о петербургском «Красном Воскресеньѣ». Тут попутно я узнал о роли Гапона в движеніи, о его связях с зубатовщиной, с одной сторо-

ны, и с русскими лѣвыми теченіями, с другой, о подробностях кро-
ваваго дня и т. д. Только это дало мнѣ возможность вставить в
книгу болѣе подробный разсказ об этом поворотном моментѣ рево-
люціоннаго процесса. О характерных особенностях американской
прессы я, вирочем, узнал тут не впервые. Помню, как при первом
же моем прѣздѣ в Америку у памятника Свободы поднялись на
шалубу океанскаго парохода одновременно с таможенными чинов-
никами и репортеры газет, — как они отыскали меня в каюте при
пропѣрѣ паспортов, собрали обо мнѣ и о цѣли моего прѣзда нуж-
ные им свѣдѣнія — и закончили, до моей высадки, обязательным
вопросом, как мнѣ понравилась Америка. Выйдя, по выполненіи
таможенных формальностей, с пристапи и купив газеты, я к удив-
ленію прочел не только свою біографію с портретом, но и болѣе
или менѣе остроумные, смотря по таланту репортеров, отвѣты о
моей любви к Новому Свѣту.

С изданіем книги я все же задержался в Соединенных Шта-
тах еще на два мѣсяца с лишним. Закончив, наконец, этот мой
собственный политическій путеводитель по возрождавшейся новой
Россіи, я к началу апрѣля вернулся в Петербург.

П. Милюков